

М.С. Альперович

## ИСТОРИК В ТОТАЛИТАРНОМ ОБЩЕСТВЕ (профессионально-биографические заметки)

Получив от редакции “Одиссея” лестное предложение выступить на его страницах в рубрике “Историк и время”, я поначалу усомнился, смогу ли сказать что-либо важное и интересное читателю. Но, поразмыслив, решил, что, быть может, мой личный опыт в чем-то типичен для жизненного и творческого пути целого поколения советских интеллектуалов, в частности историков, во всяком случае, многих его представителей. К тому же определенное значение имеет, возможно, и то обстоятельство, что у меня нет особых субъективных причин ненавидеть советский строй или обижаться на него. Ибо на фоне кошмара, пережитого страной и народом при коммунистической диктатуре, выпавших на их долю немислимых невзгод и бедствий, моя судьба выглядит сравнительно благополучной: я получил высшее образование; пройдя всю войну, остался в живых, занимался любимым делом, опубликовал ряд работ, в большинстве своем выдержавших, на мой взгляд, испытание временем. Мои и моей жены родители и близкие, избежав гигантской мясорубки репрессий, умерли естественной смертью. Поэтому у меня есть основания считать свое свидетельство объективным, не обусловленным чувством мести или иными негативными эмоциями. В общем, *sine ira et studio*.

Интерес к истории пробудился у меня в стенах средней школы. Более или менее добросовестно выучивая параграфы учебников физики и химии, я никогда по-настоящему не понимал эти предметы и уж подавно не испытывал тяги к технике, столь свойственной в те годы многим мальчикам. Правда, мне нравилась математика, но предпочтение я безусловно отдавал литературе, географии и, прежде всего, истории. Ко времени окончания школы я все больше склонялся к тому, чтобы избрать профессию историка, и, проработав около года на станкостроительном заводе “Красный пролетарий”, осенью 1936 г. поступил на исторический факультет Московского университета.

Университетские годы занимают в моей жизни чрезвычайно важное место. Они в общем определили мой последующий путь. Я стал членом дружного, довольно однородного по возрасту и уровню развития студенческого коллектива, значительную часть которого в недалеком будущем ждала безвременная гибель на фронтах Отечественной войны! С боль-

шинством из тех, кто остался в живых, у меня и поныне сохранились теплые, товарищеские отношения.

В невысоком трехэтажном доме на Б. Никитской (тогда – улице Герцена), где в то время помещался исторический факультет, передо мной открылся совершенно новый, прежде почти неизвестный мир. В отличие от нынешних выпускников средней школы, имеющих пусть приблизительное, но более или менее систематизированное представление о всех стадиях исторического процесса, мне и моим сверстникам, в силу особенностей тогдашней программы, были неизвестны целые (и притом весьма важные) разделы всемирной истории. А потому многое из того, что мы узнавали в стенах нашей alma mater, было для нас подлинным откровением. Это ощущение усиливалось благодаря тому, что профессора факультета, за редким исключением, великолепно знали свой предмет и умели преподнести его.

До сих пор вспоминаются блестящие лекции П.Ф. Преображенского по истории древней Греции и В.С. Сергеева по истории древнего Рима. Несколько суше по форме читал свой курс Е.А. Косминский. Но его лекции обладали неоценимым достоинством: стройностью, логичностью и последовательностью изложения огромного фактического материала. Очень четко строила свои содержательные лекции М.В. Нечкина.

Первым своим учителем я считаю С.В. Бахрушина, который вел практические занятия по отечественной истории. Крупнейший знаток России XVI–XVII вв., признанный авторитет по истории Сибири, автор фундаментальных трудов, он терпеливо и добросовестно обучал нас основам ремесла историка. Я всегда думаю о Сергее Владимировиче с глубокой признательностью. С теплым чувством вспоминаю его заваленную книгами тесную квартиру на Арбате, трогательную старомодную вежливость, неизменную черную ермолку на стриженной ежиком голове. Очень много мне дало участие в семинаре В.В. Стоклицкой-Терешкович по истории средневекового города. Заботливо опекая своих учеников, Вера Вениаминовна находила подход к каждому, с учетом его способностей и возможностей. Мне она предложила переводить немецкие хроники XVI в., и методика работы над источниками такого типа оказалась чрезвычайно поучительной – впоследствии она весьма пригодилась даже в иных условиях.

Но при всей увлеченности университетскими занятиями, с первых же дней пребывания на истфаке жизнь столкнула нас с жуткой действительностью той страшной поры, хотя от сознания всей чудовищности происходившего мы в большинстве своем были крайне далеки. В отличие от предыдущих лет, когда если не обязательными, то во всяком случае очень важными условиями приема в вуз являлись солидный производственный стаж, “полноценное” пролетарское происхождение и т.п., осенью 1936 г. в университет пришла главным образом “зеленая молодежь”, только что окончившая среднюю школу, неплохо, а иногда и весьма основательно подготовленная и еще не успевшая растерять приобретенные знания. То были, как правило, не имевшие житейского, а тем более политического опыта, воспитанные в духе революционного романтизма 20 – начала 30-х годов, наивные юноши и девушки, совершенно не отдававшие себе отчет

та в том, что творилось вокруг. Одним из них был и я, подобно преобладающей части своих ровесников со школьной скамьи усвоивший азы поллитрамоты: красочный миф о первом в мире идеальном государстве рабочих и крестьян, призванном воплотить в жизнь гениальные предначертания Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина и вековую мечту человечества о построении справедливого социалистического общества.

То, что не укладывалось в эту стройную схему, трудности, негативные явления, воспринимались сквозь призму официальной идеологии. Любые действия советской власти и коммунистической партии априори рассматривались как правильные и оправданные. Все это было естественно для подростка и юноши, которому никто не пытался открыть глаза и внушить критическое отношение к действительности. О происходивших открытых судебных процессах — Шахтинском, мифической Промпартии, меньшевиков, “деле о вредительстве на электростанциях” — я имел самое смутное представление. Знал только, что разоблачили и судят вредителей — скрытых врагов советской власти, пытавшихся ставить ей палки в колеса.

Ряд крупных событий тех лет, привлечших внимание людей постарше и более наблюдательных, прошел мимо меня, либо произвел чисто внешнее впечатление, а подоплека и значение остались непонятными. Таков был, например, печально знаменитый злополучный взрыв Храма Христа Спасителя, расположенного поблизости от нашей школы. Декабрьским утром 1931 г. посреди урока вдруг раздался оглушительный грохот и, побежав на большой перемене к Пречистенским воротам, мы обнаружили дымящиеся развалины величественного здания. Но эта варварская акция не вызвала у меня ни малейшего внутреннего протеста: “Раз взорвали, значит так надо”. К тому же ведь “религия — опиум народа”.

Убийство С.М. Кирова, конечно, вызвало шок. Но злоеший смысл последовавших за ним драконовских мер я тогда не уловил. По молодости лет и неопытности не понимал, что тучи сгущаются. Наоборот, отмена с 1 января 1935 г. карточек на продукты питания и некоторое улучшение продовольственного снабжения в Москве, разрешение детям “лишенцев” беспрепятственно поступать в школу и иные послабления создавали иллюзию перемен к лучшему.

Между тем, впервые переступив 1 сентября 1936 г. порог истфака, я застал там в самом разгаре шумную кампанию по разоблачению (задним числом) “вражеской” деятельности арестованного незадолго до начала учебного года декана профессора Г.С. Фридлянда и выявлению его многих “преступных связей”. Имя этого видного ученого, с прибавлением неизменных эпитетов “активный террорист”, “троцкист” и т.п., наряду с фамилиями историков С.А. Пионтковского, Н.Н. Ванана, Г.С. Зайделя, было публично названо на закончившемся в последних числах августа судебном процессе “антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра”. Острота ситуации усугублялась тем, что события разворачивались на фоне ожесточенной борьбы против “антимарксистских, антиленинских, антинаучных” взглядов исторической школы Покровского, начатой по команде “сверху” зимой 1936 г.

По мере расширения масштабов репрессий вакханалия доносов, работок, обличений, самооговоров принимала все более разнузданный характер. Ошеломил арест любимого студентами профессора Преображенского, едва успевшего в первом семестре 1936/37 учеб. года прочитать нам свой лекционный курс. "Врагами народа" были объявлены также некоторые другие преподаватели, аспиранты и даже студенты. Как сейчас помню многочасовые сборища в актовом зале, где в атмосфере нагнетания массовой истерии разбирались "персональные дела" тех, кто якобы проявил политическую слепоту или близорукость, утратил бдительность, предъявлялись вымышленные бредовые обвинения в связях с "врагами народа", изгонялись из комсомола (а затем зачастую исключались из университета) дети и родственники репрессированных, не пожелавшие отречься от близких до формального решения суда и т.д.

Среди немногих отказавшихся бездоказательно принять на веру виновность арестованного отца был мой близкий друг и однокурсник Шура Беленький. При рассмотрении его "дела" на комсомольском собрании нашего курса мнения разделились. Одни (ортодоксы), убежденные в безошибочности действий "органов" ("у нас зря не сажают"), требовали исключить из ВЛКСМ человека, которому факта ареста недостаточно, чтобы, не дожидаясь судебного вердикта, поверить, будто отец действительно виновен. Другие же, движимые естественными человеческими чувствами, понятиями чести, благородства, преданности родителям и близким, еще не полностью вытравленными классовым коммунистическим воспитанием, возражали. И, как ни поразительно, в условиях, когда запущенный на полную мощность карательный механизм, как правило, срабатывал без сбоев, на сей раз произошла осечка: большинство проголосовало против исключения Шуры, что, вероятно, спасло его.

Описанный эпизод сыграл определенную роль в формировании моего мировоззрения. С детства привыкший без рассуждений принимать как непреложную истину весь идеологический арсенал, неподносимый в школе, университете, на страницах печати, комсомольских собраниях, я впервые в жизни оказался перед нелегким выбором между бездумным подчинением незыблемому, но абстрактному авторитету и собственными представлениями о дружбе, верности, самоуважении. И если поступил так, как подсказывала совесть, вступившись за друга, то не только руководствуясь нравственными соображениями, но и потому, что в моем сознании уже шел процесс критического переосмысления окружающей реальности.

Массовые репрессии, достигшие кульминации летом 1938 г., коснулись столь широкого круга людей, что не заметить их даже не искушенному в политике молодому человеку было просто невозможно. К счастью, ни мои родители, ни старший брат, ни близкие родственники непосредственно не пострадали. Но арестованы были многие знакомые, соседи, в газетах и на собраниях постоянно упоминались и предавались анафеме искусно маскировавшиеся коварные "враги народа". Что касается бывших представителей партийно-советской элиты, принадлежавших в свое время к оппозиции, которые в ходе публичных судилищ

1936–1938 гг. сидели на скамье подсудимых, то с ними, казалось, все было ясно. Они перед всем миром покаялись в своих злодеяниях и понесли заслуженную кару. Трудно было представить, конечно, каким образом эти люди, вкусившие когда-то прелести царской тюрьмы, каторги и ссылки, занимавшие еще недавно столь высокое положение в советской иерархии, видные теоретики и практики революционного строительства, могли пасть так низко... Но ведь они *сами* признались. И даже мысли о том, что их показания можно было добыть насильственными методами, посредством пыток, не возникало.

Иное дело, однако, многочисленные “враги”, чья виновность не была засвидетельствована материалами прессы. Среди них оказались те, кого я знал лично, друзья и знакомые моих родителей и родственников, школьные товарищи (например, Х.Я. Ганецкая, Н.Я. Дробнис), их отцы и матери, братья и сестры. В большинстве своем – порядочные люди, преданные советской власти, добросовестно трудившиеся на благо общества. Не подлежало сомнению, что многие арестованные и осужденные ни в чем не виноваты. Допуская невиновность этих людей, некоторые в качестве объяснения повторяли крылатое выражение “лес рубят – щепки летят”. Меня, однако, подобная логика не убеждала, ибо открытым оставался вопрос о роли Сталина и его приближенных в происходившем. Либо все делалось за его спиной и он не знал о том, что наряду с действительными врагами страдает множество невинных. Тогда рушилась красивая легенда о мудром, все знающем и все видящем соратнике и преемнике Ленина, который вникает во все обстоятельства жизни страны и народа. Либо ему все известно, но коль скоро он, тем не менее, не пресекает произвол и беззаконие, то как это совместить с сияющим образом “великого вождя всех времен и народов”? Ответа я не находил, но в любом случае напрашивался вывод, что “не все благополучно в Датском королевстве”. Прийти к такому заключению было непросто, так как приходилось преодолевать повседневное оупляющее воздействие налаженной пропагандистской машины, работавшей безостановочно.

Эволюция моих взглядов в довоенные годы мешало также отсутствие возможности поделиться с кем-либо своими сомнениями. То, что происходило вокруг, приучило к осторожности. Конечно, у меня были друзья, которым я доверял и не боялся быть с ними откровенным. Но мои размышления казались мне самому столь крамольными, что признаться в них кому-либо не рисковал. Единственным человеком, с кем я решался говорить на эту опасную тему, была моя юная жена, придерживавшаяся одинакового со мной образа мыслей. Однако ее ортодоксальные родители и старшая сестра, сохранявшие безграничную слепую веру в непогрешимость “продолжателя дела Ленина”, были крайне недовольны нашими неуверенными шагами по пути прозрения и с раздражением реагировали на любое замечание или реплику критического свойства. Между тем среди книг, заполнявших полки их домашней библиотеки, я обнаружил ряд изданий, давно изъятых из государственных библиотечных фондов, в частности, стенографические отчеты партийных съездов. Они содержали

выступления лидеров оппозиционных течений Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова, Пятакова, Радека и др., резко критиковавших Сталина и приводивших в качестве аргументов компрометировавшие его факты и заявления. Особый интерес вызвал у меня известный сборник сталинских статей и речей 1921–1927 гг. “Об оппозиции”, включавший, между прочим, речь на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в октябре 1927 г., с пространными выдержками из “завещания” В.И. Ленина, о котором я прежде не имел понятия.

В конце 30-х годов процесс постижения истины замедлился в связи с некоторым смягчением политики и практики массового террора, воспринимавшимся как либерализация режима. К тому же неожиданное подписание советско-германского пакта 23 августа 1939 г. в значительной мере отвлекло внимание от внутривосточных проблем. Размышляя о тогдашнем уровне своего развития, вспоминаю, как теплым августовским вечером 1940 г., выйдя из вагона электрички на подмосковной дачной платформе Кратово, услышал по репродуктору сообщение об убийстве Л.Д. Троцкого. Значение этого факта я должным образом оценил, но что за ним скрывалось, чьих рук это дело, ни в тот момент, ни позже, читая гнусные газетные публикации, озаглавленные “Смерть международного шпиона”, “Собаке – собачья смерть” и т.п., признаться, так и не понял, даже ничего не заподозрил.

Вместе с тем все большее внимание приходилось уделять университетским занятиям. Думая о будущей специализации, я еще на III курсе остановился на истории средних веков, которая казалась мне наиболее многообещающей и наименее идеологизированной. История советского общества и новейшая история, безусловно, отпадали: явная ангажированность этих разделов истории и их зависимость от политической конъюнктуры были для меня очевидны. Мой первоначальный выбор в немалой степени обуславливался также влиянием и советами заботливой В.В. Стоклицкой-Терешкович. Однако в дальнейшем я все же отказался от намерения стать медиевистом. Прежнюю привязанность вытеснило из моего сердца новое увлечение.

В то время учебный план исторического факультета включал курс истории колониальных и зависимых стран, охватывавший Восток и Латинскую Америку. Кафедра колониальных и зависимых стран занимала особое положение. Ее члены, не в пример своим почтенным, пожилым коллегам с других кафедр, были сравнительно молоды – не старше, а иногда значительно моложе 40 лет – и пока еще не столь известны в университетских и научных кругах. Они держались более свободно и непринужденно, а главное – знакомили нас с тем, о чем мы не имели ни малейшего понятия, либо в лучшем случае знали лишь понаслышке. При этом, если по остальным дисциплинам курс читали один или два профессора, синхронно освещая историческое развитие разных государств, международные отношения и т.д., то историю колоний и зависимых стран мы слушали в изложении семи-восьми специалистов, каждый из которых ограничивался определенной страной или регионом.

Так, историю Индии вел широко эрудированный востоковед И.М. Рейснер, внешне выделявшийся несколько эксцентричными манерами. Яркие лекции Г.С. Кара-Мурзы по истории Китая проходили, как правило, в переполненной аудитории, состоявшей не только из историков, но и студентов других факультетов – математиков, физиков, химиков, биологов, географов. Загаив дыхание, слушатели внимали эмоциональному повествованию лектора, а когда он рассказывал о предсмертном обращении Сунь Ят-сена к ЦИК СССР, особо чувствительные девицы не могли сдержать слезы. Историю Турции читал всегда уравновешенный и невозмутимый А.Ф. Миллер, а стран Юго-Восточной Азии – остроумный и приветливый А.А. Губер.

Весной 1939 г. к чтению латиноамериканской части курса приступил В.М. Мирошевский – талантливый исследователь, один из пионеров изучения истории стран этого региона в Советском Союзе. Его увлекательные лекции явились первым опытом систематизации и обобщения развития латиноамериканских стран советским ученым. Именно под влиянием Владимира Михайловича я, вероятно, и стал латиноамериканистом. Нарисованная им красочная картина событий, столь непохожих на все изучавшееся ранее, своеобразное переплетение социальных, политических, экономических, национальных, региональных противоречий, живые портреты и запоминающиеся характеристики исторических персонажей захватили меня своей новизной и необычностью. То была поистине terra incognita, совсем неизвестные и потому особенно впечатляющие страницы всемирной истории.

Прежние мои представления об этом далеком континенте были почерпнуты преимущественно из немногих литературных произведений, прочитанных в свое время: “Мексиканец” Д. Лондона, романы “Золотой человек” Р. Бланко-Фомбони и “Пучина” Х.Э. Риверы, повести Б. Травена. Но, пожалуй, наиболее сильное впечатление произвели колоритные рассказы В. Гарсии Кальдерона, поразившие мое воображение перуанской экзотикой и острозащитной фабулой.

Однако куда интереснее художественного вымысла оказались подлинные исторические реалии, о которых с таким воодушевлением рассказывал В.М. Мирошевский. Его любимым героем был предтеча испаноамериканской независимости Франсиско де Миранда, и это было настолько очевидно, что студенты в шутку прозвали Владимира Михайловича “Мирандошевский”. В этом экзотическом мире, который наш лектор с присущим ему мастерством и блеском открывал слушателям, заметное место занимала Мексиканская революция 1910–1917 гг. В этой связи напомним, что повышенный интерес (в частности, среди учащейся молодежи) к Латинской Америке обуславливался тогда в известной мере гражданской войной 1936–1939 гг. в Испании. Не удивительно, что Мексика, решительно поддержавшая республиканцев, а в дальнейшем предоставившая многим из них политическое убежище, привлекала особое внимание.

Все это и определило мой выбор. Решив специализироваться по истории этого региона, я в последние два года учебы в университете прослушал специальный курс Мирошевского, посвященный войне за независимость Испанской Америки, и его лекции по историографии и источниковедению латино-

американских стран. Под руководством В.М. мною была выполнена и весной 1941 г. представлена дипломная работа на тему "Мексика и США в 1910–1918 гг." Кафедра рекомендовала меня в аспирантуру.

Но в воскресный полдень 22 июня в читальном зале Фундаментальной библиотеки по общественным наукам на улице Фрунзе (нынешняя Знаменка) меня застала ошеломляющая весть о нападении фашистской Германии. Начавшаяся война заставила надолго отложить намеченные планы. В рядах Красной Армии я участвовал в боях под Москвой, в Латвии, Польше, Восточной Померании и наконец в финальном Берлинском сражении, где волею обстоятельств довелось оказаться в центре важных событий заключительной фазы Отечественной войны. Обо всем этом мне уже приходилось писать<sup>2</sup>.

Сразу же замечу, что с началом войны колебания, сомнения, вопросы, и без того в последние предвоенные годы отошедшие на задний план, если и не исчезли совсем, то отодвинулись куда-то вглубь. Подобно другим, я отныне существовал в ином измерении, где волновали и занимали отличные от прежних проблемы. И, вероятно, нетрудно понять, почему, когда весной 1944 г. меня вызвали в политотдел и предложили вступить в ВКП(б), я не стал возражать, хотя отнюдь не рвался туда и до войны такой шаг вовсе не входил в мои намерения. Тем не менее и в той обстановке подчас приходилось сталкиваться с явлениями, заставлявшими пусть мимоходом задуматься, и полагаю, что в сумме своей они наложили известный отпечаток на мои взгляды.

Прежде всего для меня, как и для других, сильнейшим шоком стало паническое отступление Красной Армии в начале войны и ее катастрофические поражения. Неприятной неожиданностью явилось засилье в армии пресловутых "органов", действовавших там под названием "особых отделов", а в дальнейшем – контрразведки СМЕРШ. На фронте, где "до смерти четыре шага", они выполняли те же неприглядные функции, что и в тылу, заставляя трепетать боевых офицеров, не говоря уже о рядовых бойцах. Впервые мне довелось наблюдать за их "работой" летом 1942 г., когда на участке обороны нашей дивизии выходили из окружения военнослужащие кавалерийского корпуса генерала Белова. Опухшие от голода, оборванные, грязные, обовшивевшие, в большинстве своем без оружия, они тотчас же попадали в лапы контрразведчиков, которые часами с пристрастием допрашивали их, требуя признаться, когда и где те были завербованы гитлеровцами. В то время я не сомневался, что кого-то из них действительно к нам забросили немцы, но эти люди выглядели такими измученными, перенесшими столько страданий и лишений, что я интуитивно не мог поверить, будто все они – предатели и вражеские агенты. Позже мне неоднократно приходилось иметь дело с перебежчиками из власовской Русской освободительной армии (РОА), среди которых наверняка попадались и засланные фашистской разведкой. Но многие, обреченные на гибель в гитлеровских лагерях смерти, вступали в это формирование только для того, чтобы, попав на фронт, при первой возможности перейти обратно на советскую сторону.



На более поздней стадии войны большое значение для моего "самообразования" имели наблюдения, сделанные после пересечения границы. Оказавшись на территории "панской" Польши, я вскоре убедился, что уровень жизни в этой стране, считавшейся одной из самых бедных и отсталых в Европе, гораздо выше, нежели в социалистическом Советском Союзе, а об опрятных домиках, чистых, просторных улицах немецких городов и селений, ухоженных полях, садах и огородах, превосходных широких автострадах и говорить нечего. В действительности все выглядело совсем не так, как нам пытались внушить.

Между тем настал день безоговорочной капитуляции нацистской Германии. В те майские дни 1945 г. мы находились в состоянии эйфории и будущее представлялось в самом розовом свете. Казалось, теперь начнется иная, новая жизнь.

И все же именно тогда прозвучал сигнал, значение которого дошло до меня в полной мере лишь значительно позже. В последний период войны и особенно по ее окончании военный трибунал 3-й ударной армии, в штабе которой я тогда служил, рассматривал множество дел лиц, обвинявшихся в различных преступлениях против советской власти. Заседание трибунала обычно вел кто-то из военных юристов, а в качестве народных заседателей привлекали поочередно штабных офицеров. В июне 1945 г. наступила моя очередь. И вот однажды слушалось дело одного власовца — молодого человека лет 23–24, который в начале войны попал в плен и, находясь в лагере, вступил в РОА. В ходе судебного разбирательства председатель стал упрекать подсудимого: как же ты, боец Красной армии, комсомолец, вскормленный советской властью, мог изменить родине, перейти на сторону врага и т.д.? И вдруг, совершенно неожиданно для меня, этот парень, вместо того чтобы каяться или оправдываться, сам перешел в наступление. "А как же нас, малообученных, плохо вооруженных, без поддержки артиллерии и авиации, бросили в бой против превосходящих сил немцев? — нервно выкрикивал он. — А когда мы оказались в окружении, никто и не пытался нас вызволить. В лагере для военнопленных мы подыхали с голоду, потому что не получали посылок через Красный Крест, как все остальные!" Конечно, он получил свой срок, а я вскоре забыл об этом инциденте. Но какая-то зарубка в памяти все же осталась. Ибо я впервые услышал, что даже виновные перед Советским государством вправе предъявить ему собственный счет.

Лишь после демобилизации из армии мне удалось возобновить прерванные войной научные занятия. В ноябре 1946 г. я был зачислен в аспирантуру Тихоокеанского института АН СССР и в течение трех лет под руководством А.А. Губера работал над диссертацией, посвященной внешней политике США в связи с Мексиканской революцией 1910–1917 гг. При защите ее мне пришлось непосредственно испытать на себе последствия массированного идеологического наступления, осуществлявшегося в обстановке набирающей силу "холодной войны".

Морально я был подготовлен к тому, что подвергнусь нападкам, всем предшествующим ходом событий. Они стремительно развивались в за-

данном “сверху” направлении. Вслед за обнародованными в августе–сентябре 1946 г. пресловутыми “ждановскими” постановлениями ЦК ВКП(б) началась широкая кампания против инакомыслия, международного сотрудничества, “низкопоклонства и раболепия перед иностранщиной и реакционной культурой буржуазного Запада”. Зверское убийство сотрудниками МГБ С.М. Михозла (январь 1948 г.) явилось сигналом к разгрому возглавлявшегося им Еврейского антифашистского комитета и арестам многих видных интеллектуалов-евреев. Если раньше негласные ограничения и “процентные нормы” при приеме на работу, в высшие учебные заведения, в аспирантуру лиц этой национальности старались скрывать, то теперь, всего через три года после окончания победоносной войны против расистского гитлеровского режима, демонстрировался откровенный антисемитизм, возведенный в ранг государственной политики. Все это происходило на фоне усилившихся гонений на интеллигенцию и нарастания агрессивных тенденций во внешнеполитической сфере.

В сложившейся ситуации у вдохновителей и организаторов развернувшейся пропагандистской кампании, наряду с другими идеями, видимо, возникла мысль разыграть “латиноамериканскую карту”. В мае 1949 г. в журнале “Большевик” появилась пространная рецензия на монографию известного советского американиста Л.И. Зубока “Империалистическая политика США в странах Караибского (такова была тогдашняя транскрипция. – М. А.) бассейна, 1900–1939”. Без сколько-нибудь веской аргументации книга подверглась сокрушительной критике, которая строилась, главным образом, на грубом извращении взглядов автора при помощи цитат, произвольно вырванных из контекста. Зубоку инкриминировались “объективизм”, “апологетика империалистической политики США”, мнимое “умолчание о вмешательстве” США во внутренние дела стран региона, в частности, Мексики.

Публикация такого рода означала тогда завуалированную директиву высших партийных инстанций усилить борьбу против “буржуазной фальсификации” латиноамериканской истории. Непосредственным исполнителем этой неблагоприятной акции, скрывавшимся под псевдонимом И. Лаврецкий, явился И.Р. Григулевич – впоследствии член-корреспондент АН СССР. Общаясь с этим незаурядным человеком на протяжении трех десятилетий, я даже не подозревал, что жизнерадостный толстяк с колоритной внешностью бразильского фазендейро, полиглот, владевший восемью языками, в действительности – долголетний агент советской разведки (под кличками “Макс”, “Артур”, “Падре”), имевший прямое отношение к подготовке убийства Л. Д. Троцкого и покушения на югославского лидера Тито.

Выступление Григулевича послужило сигналом к началу “охоты на ведьм” в сфере латиноамериканистики. Не прошло и полугодя, как был сделан следующий шаг, причем на сей раз мишенью была избрана история Мексиканской революции, различные аспекты которой нашли отражение в нескольких кандидатских диссертациях, появившихся в послевоенные годы (1947–1949). Хотя эти работы, в том числе и моя, принадлежали перу молодых историков, выросших под влиянием коммунистической идеоло-

гии, исходивших из постулата безошибочности и универсальности марксистско-ленинской методологии и принципов исторического материализма, мы пытались объективно и добросовестно разобраться в сути исследуемых явлений. При всем разнообразии индивидуальных подходов я и мои коллеги рассматривали Мексиканскую революцию 1910–1917 гг. как одно из крупнейших событий в истории Мексики, создавшее благоприятные предпосылки для ее дальнейшего развития и проведения преобразований в экономической, политической и культурной областях.

Однако во время публичной защиты моей диссертации на заседании Ученого совета истфака МГУ в октябре 1949 г. высокопоставленный чиновник Международного отдела ЦК ВКП(б) В.И. Ермолаев поставил под сомнение защищаемую работу и в категорической форме потребовал принципиального пересмотра сложившейся концепции Мексиканской революции. Обрушившись на тех, кто склонен “преувеличивать” ее масштабы и историческую роль, партийный функционер, не утруждая себя аргументацией, безапелляционно констатировал якобы “плачевный опыт и плачевные результаты” революции в Мексике. Распространенное мнение о ее значении для всего латиноамериканского региона, по его словам, “косвенно...принижает действительно огромное революционизирующее значение и влияние, которое имела Октябрьская социалистическая революция на пробуждение сознания рабочего класса Латинской Америки”. Поэтому В.И. Ермолаев предложил историкам вскрыть “ограниченный и незрелый характер” Мексиканской революции<sup>3</sup>.

Но демарш ответственного сотрудника всемогущего ЦК встретил неожиданные возражения, ибо согласиться с ним означало не только отвергнуть данную диссертацию, но и дезавуировать задним числом труды остальных исследователей – более приемлемых для “инстанций” и не отягощенных компрометирующим “пятым пунктом” анкеты. К тому же бесцеремонное поведение привыкшего к беспрекословному повиновению аппарата вызвало понятное возмущение в университетских и академических кругах. Те, кто определял академический климат, предпочли не обострять обстановку и не стали настаивать, а неудачливого критика вскоре направили на учебу в Академию общественных наук. В итоге я успешно преодолел все преграды и получил “искомую” кандидатскую степень.

Однако мое стремление продолжать работу по латиноамериканским проблемам натолкнулось на некоторые трудности в связи с отсутствием в Москве свободных вакансий по данной специальности. В результате мне пришлось в течение пяти лет преподавать в Рязанском педагогическом институте, ведя в основном курс новой истории. Латинской Америкой в тот период удавалось заниматься лишь урывками. Тем не менее я никогда не жалел о годах, проведенных в Рязани, потому что люблю педагогическую работу, а регулярное чтение лекций существенно расширило мой кругозор историка.

Впрочем, рязанский этап памятен мне и по другим причинам. Он протекал на фоне дальнейшего обострения внутривосточной и международной ситуации, нагнетания массового психоза в связи с мнимыми проис-

ками вражеской агентуры в СССР и усилением внешней угрозы безопасности страны. Возобновились судебные процессы над “заговорщиками”, и хотя расправы осуществлялись теперь, в отличие от 30-х годов, как правило, втайне, доходили смутные слухи и о “ленинградском деле”, и о деле Еврейского антифашистского комитета, завершившихся расстрелом подавляющего большинства обвиняемых. В области идеологии гнетущее впечатление произвела разгромная дискуссия по вопросам языкознания на страницах “Правды”, которая сопровождалась новой волной проскрипций, обрушившихся на ученых и деятелей культуры. Все опять возвращалось “на круги своя”. В начале 50-х годов в обществе царило тревожное ожидание дальнейшего “закручивания гаек” со всеми вытекающими отсюда последствиями, особенно для “лиц еврейской национальности”, подвергавшихся все более открытой дискриминации. И вскоре снаряд разорвался совсем близко от меня.

Шел февраль 1951 г. После зимних каникул, проведенных в Москве, я должен был вернуться в Рязань вместе с коллегой по пединституту доцентом-медиевистом Б.И. Рыськиным. Это был милейший, симпатичный и общительный человек, тоже москвич, лет на 8–10 старше меня. В институтском общежитии мы с ним занимали одну комнату на двоих. Накануне отъезда из Москвы утром мне позвонила жена Б.И. и, явно взволнованным голосом сообщив, что муж не сможет завтра поехать в Рязань, попросила встретиться с ней где-то на улице. Оказалось, что прошедшей ночью Б.И. арестовали (как выяснилось впоследствии – за чтение иностранного журнала, о чем “органы” узнали от того, кто ему этот журнал дал).

На следующее утро я в весьма подавленном настроении приехал в Рязань и направился в общежитие. Поднимаясь по лестнице, на площадке третьего этажа, где находилась наша комната, увидел возле окна две мужские фигуры в одинаковых пальто. Изво всех сил стараясь сохранить невозмутимый вид, прошел мимо них и двинулся по длинному коридору к своей комнате, слыша за спиной приближающиеся шаги тех двоих. Пока открывал дверь, они подошли, и один, удостоверившись, что перед ним Альперович, протянул мне бумажку. “Ордер на арест” – мелькнуло в голове. Но то оказался ордер на обыск вещей моего несчастного соседа. Ничего кроме конспектов лекций и книги о Жанне д’Арк на французском языке “сотрудники”, естественно, не обнаружили и, на всякий случай прихватив книжку с собой, величественно удалились.

Итак, я отделался не очень легким испугом – может быть, в немалой степени именно потому, что, работая не в столице, а в провинции, был меньше на виду. Но тогда я этого не понимал и упорно пытался устроиться в Москве, где жила моя семья и я мог бы продолжить свои латиноамериканские исследования. Однако все усилия были тщетны, ибо на протяжении 1951–1952 гг. обстановка становилась все более неблагоприятной. А 1953 год начался известным сообщением о раскрытии так называемого “заговора врачей” – провокацией, последствия которой, если бы не смерть Сталина, могли стать поистине, как теперь выражаются, непредсказуемыми.

Кончина вождя всего прогрессивного человечества отнюдь не повергла меня в глубокую скорбь. Я никогда не испытывал личных чувств по отношению к этому человеку. Присущие ему, как мне тогда представлялось, качества государственного деятеля воспринимались мною абстрактно, не вызывая ни любви, ни преклонения, ни благодарности. Кроме того, к тому моменту я уже избавился от некоторых иллюзий, связанных с именем Сталина. В моей реакции на его смерть доминировали беспокойство и опасения, как бы без “сильной руки” положение не изменилось к худшему. Но беспочвенность подобных тревожений стала очевидной уже через месяц, с публикацией коммюнике МВД СССР о провокационной подоплеке “дела врачей” и полной невиновности обвиняемых, особенно же — после ареста Берии и его приспешников в июле 1953 г. Эти и последующие перемены сказались и на моей собственной судьбе.

Осенью 1954 г. я получил приглашение на работу в Институт истории АН СССР. С тех пор вот уже более четырех десятилетий моя деятельность связана с этим академическим научным центром, где передо мной открылись благоприятные перспективы работы по специальности. Существенное значение имела возможность повседневного общения и обмена мнениями с такими видными учеными, как мой учитель А.А. Губер, известный германист А.С. Ерусалимский, специалисты по истории Франции А.З. Манфред и В.М. Далин, американисты Л.И. Зубок и Н.Н. Болховитинов, мой коллега и соавтор Л.Ю. Слезкин, выдающийся знаток Византии А.П. Каждан и др.

Мое возвращение в Москву совпало с переломным моментом в эволюции советского общества, наступившим в результате послесталинской “оттепели” и особенно под влиянием импульсов, данных секретной речью Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС. В первые годы пребывания в Институте истории я сосредоточил свои усилия главным образом на изучении Мексиканской революции XX в., начатом еще в аспирантуре. Моя кандидатская диссертация и последующие публикации охватывали не всю революционную эпоху, а лишь определенный ее период (1913–1917), хотя и достаточно важный. Для анализа проблемы в целом требовалось расширить хронологические рамки исследования. Об этом мы не раз беседовали с Б.Т. Руденко, который почти одновременно со мной защитил диссертацию, освещающую позицию США по отношению к революционной Мексике в 1910–1913 гг. Так родилась идея книги, осуществленная в 1958 г., когда вышла в свет наша совместная монография “Мексиканская революция 1910–1917 гг. и политика США”. Вскоре ее испанский перевод был опубликован в Мексике и в дальнейшем неоднократно переиздавался (в 1984 г. выпущено 12-е издание)<sup>4</sup>.

Невозможность в условиях жесткого контроля умов и политической цензуры игнорировать запреты и официально навязываемые догмы, тяготевшие в СССР особенно над теми, кто занимался историей XX в., а также отсутствие реальной перспективы работы в иностранных архивах и библиотеках побудили меня со временем усомниться в целесообразности продолжать изучение Мексиканской революции. Вместе с тем, рас-

смотря на различные аспекты этого исторического феномена, я все больше убеждался в том, насколько глубоко в прошлое уходят корни многих явлений конца XIX – начала XX в.

Под влиянием изложенных выше обстоятельств и происшедшей трансформации научных интересов во второй половине 50-х годов в моем поле зрения оказались войны за независимость в Испанской Америке. Правда, и при разработке проблем, относившихся к этому сюжету, советский исследователь (да и вообще любой правоверный марксист) неизбежно попал в весьма затруднительное положение, ибо его по рукам и ногам связывала крайне негативная характеристика ключевой фигуры испаноамериканской революции первой четверти XIX в. Симона Боливара, данная К. Марксом. В нашей латиноамериканистике, равно как и в зарубежной марксистской историографии, утвердился стереотип, основанный на догматическом воспроизведении и механическом повторении мнения “основоположника научного коммунизма”, которое часто проецировалось по аналогии на других руководителей освободительного движения и определяло освещение войны за независимость испанских колоний в целом. Лишь развенчание Сталина позволило публично подвергнуть критическому рассмотрению “черную легенду” о Боливаре. В коллективной статье “Об освободительной войне испанских колоний в Америке”, напечатанной в ноябре 1956 г. в журнале “Вопросы истории”, я и мои соавторы, проанализировав версию классика, сформулировали своего рода антитезис, исходивший из позитивной оценки вклада “Вашингтона Южной Америки” в борьбу за освобождение субконтинента. Эта публикация в определенной мере стимулировала изучение проблем испаноамериканской революции в СССР.

На рубеже 1961 и 1962 гг. мне удалось впервые побывать в Латинской Америке. Полуторамесячная поездка в Мексику и на Кубу позволила, так сказать, *de visu* составить известное представление об этих странах, ранее знакомых лишь по литературе. Мексиканские впечатления явились как бы наглядным пособием по изучаемой тематике. Что же касается посещения “острова Свободы”, то молодая кубинская революция, переживавшая тогда свой звездный час, демонстрировала куда более привлекательную и убедительную модель нового общества, нежели первое в мире социалистическое государство. Этот резкий контраст дал обильную пищу для раздумий и сравнений.

В 1964 г. вышла в свет моя монография “Война за независимость Мексики (1810–1824)”, защищенная год спустя в качестве докторской диссертации. Она была опубликована в испанском переводе мексиканским издательством Грихальбо. Как своего рода свидетельство международного признания воспринял я тот факт, что на годовичном собрании Американской исторической ассоциации в Сан-Франциско в конце декабря 1965 г. был сделан доклад на тему “М.С. Альперович и советская историография Латинской Америки”.

Моя научная карьера, казалось бы, складывалась более или менее благополучно. Однако к середине 60-х годов политическая обстановка в

стране радикально изменилась. Вслед за отстранением Н.С. Хрущева появились явные признаки стремления влиятельных кругов правящей элиты к реабилитации Сталина. На этом фоне в Институте истории разворачивались события, привлекая к нему внимание общественности. В период хрущевской "оттепели" на первых порах свежие веяния ощущались в нашем научном коллективе довольно слабо, но постепенно наметились кое-какие симптомы перемен. Они обозначились более явно после XX и XXII съездов КПСС и внешне зачастую выражались в обострении конфликта между сталинистами из числа бывших партийных работников, питомцев Академии общественных наук, Высшей партийной школы и т.д. (нередко не только бесплодными в профессиональном отношении, но и прямыми бездельниками) и творчески мыслящими, квалифицированными, хорошо подготовленными учеными.

Последние выступили за полный разрыв с теорией и практикой сталинизма, что подразумевало отказ от многих догм, сковывавших развитие исторической науки, и пересмотр ряда представлений, утвердившихся в советской историографии. В парткоме Института, избранном осенью 1965 г., тон задавали антисталинисты во главе с В.П. Даниловым, что рассматривалось "наверху" как недопустимая фронда и вызов системе. Не следует забывать, что все это происходило в обстановке нарастающего наступления сталинистов. 30 января 1966 г. "Правда" поместила статью Е.М. Жукова, В.И. Шункова и В.Г. Трухановского, содержащую, по существу, завуалированный призыв к реабилитации Сталина. В феврале состоялся позорный процесс А.Д. Сияевского и Ю.М. Даниэля. В обществе упорно циркулировали слухи о том, что на открывающемся в конце марта XXIII съезде КПСС предполагается дезавуировать решения XX и XXII съездов, касающиеся оценки Сталина.

В этих условиях в ЦК КПСС зародилась мысль, дабы призвать к порядку вольнодумную интеллигенцию, устроить публичную проработку вышедшей в октябре 1965 г. книги моего друга А.М. Некрича "1941. 22 июня", автор которой к тому же отличался независимостью суждений и являлся членом крамольного парткома Института истории. Однако эта затея провалилась. Более того: состоявшееся 16 февраля в стенах Института марксизма-ленинизма обсуждение названной работы, вопреки расчетам его закулисных инициаторов, дало противоположный эффект. Вместо запланированного коллективного предания Некрича анафеме, оно оказалось для него поистине триумфальным и продемонстрировало позитивную оценку его труда подавляющим большинством участников дискуссии.

Потерпев неудачу, "инстанции" не отказались от своих намерений и ждали подходящего случая, чтобы свести счеты со строптивым автором и его единомышленниками. Переход от отдельных нападок к мерам организационного характера был ускорен разными обстоятельствами, относящимися к концу 1966 – началу 1967 г. Среди них: 1) очередные перевыборы парткома Института истории, в результате которых произошло дальнейшее укрепление его "неуправляемого" антисталинского ядра (по

настоянию многих коллег, мне пришлось, при всем моем давнем отвращении к общественной работе, согласиться войти в состав парткома); 2) опубликование исследования А.М. Некрича и положительных откликов на него за рубежом; 3) распространение в Москве, Ленинграде и других городах СССР, а также в зарубежной прессе и по радио "Краткой записи" февральского обсуждения в ИМЛ. Непосредственным толчком послужила, видимо, публикация в западногерманском журнале "Шпигель" 18 марта 1967 г., где отмечалось, что в то время как Л.И. Брежнев стремится реабилитировать Сталина, ряд представителей советской интеллигенции, чью позицию отражает книга Некрича, выступили против этих планов.

В мае 1967 г. А.М. был вызван в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС, где подвергся многочасовому допросу, а в конце июня исключен из КПСС "за преднамеренное извращение политики Коммунистической партии и Советского правительства накануне и в начальный период Великой Отечественной войны". Было ли тогда исключение из партии для моего друга сильным потрясением и большой трагедией? Все мы в большинстве своем переживали в то время лишь начальную стадию длительного процесса духовного отрезвления, преодоления догм и заблуждений, свойственных поколениям историков, чьи взгляды формировались в специфических условиях советского строя. Однако кое-какие жизненные и политические уроки успели извлечь и многое осознать. Во всяком случае, к партии, допустившей и одобрявшей кровавый сталинский террор, особой привязанности не испытывали. Тем не менее она представлялась единственной организацией, где как будто еще продолжалась, хотя постепенно затухала, борьба между сторонниками сталинизма и их противниками. Вместе с тем изгнание из рядов КПСС было чревато увольнением с работы, невозможностью публикации своих исследований и иными репрессиями, т.е. фактически ставило исключенного в положение изгоя.

Тем временем "дело Некрича" получило значительный резонанс. Широкие круги интеллигенции расценили расправу над автором популярной книги как свидетельство ужесточения неосталинистского курса. Приговор, вынесенный партийным судом, вызвал взрыв негодования и громкие протесты. К сожалению, партком Института истории не решился выступить в защиту своего товарища, а большинство его членов отказалось даже поддержать ходатайство А.М. о пересмотре дела. Этот отказ, лицемерно мотивированный демагогическими рассуждениями о неких "высших" интересах, недопустимости раскола внутри парткома и т.п., я воспринял как предательство. Впрочем, приятной неожиданностью явилось то, что вместе со мной, С.И. Якубовской и Л.Ю. Слезкиным (в чьей позиции я ни минуты не сомневался) в поддержку Некрича высказался и М.С. Волин – старый большевик, к тому же известный специалист по истории КПСС.

Желание выразить солидарность с человеком, которого пытались поставить на колени инквизиторы со Старой площади, удалось осуществить в связи с опубликованием (несомненно, по указке сверху) в журнале "Во-



просы истории КПСС" (1967, № 9) крайне недобросовестной, научно несостоятельной и абсолютно бездоказательной рецензии Г.А. Деборина и Б.С. Тельпуховского на крамольное произведение А.М. Некрича. В редакции журналов, партийные органы, исследовательские учреждения стали поступать письма, содержавшие резкую критику этого одиозного опуса, призванного задним числом "подвести базу" под упомянутое выше решение ЦК.

Мы с А.Г. Тартаковским, обсудив сложившуюся ситуацию, решили, что надо не только выразить возмущение неквалифицированным и тенденциозным сочинением двух рецензентов, но и дать его обстоятельный разбор. Подготовить такой материал нам – людям, по своей специальности, кругу научных интересов и тематике занятий весьма далеким от проблем Отечественной войны 1941–1945 гг. – было, конечно, чрезвычайно сложно. Тем не менее, отложив все текущие дела, мы принялись за работу и примерно через месяц текст был готов. Большинство из тех, кому мы предложили подписать его, сделали это охотно и без колебаний. Некоторые откровенно признались, что боятся поставить свою подпись под таким документом. Другие, памятуя, что с точки зрения неписанных партийных канонов, наиболее предосудительными считались именно коллективные заявления, предпочли действовать в индивидуальном порядке. В конечном счете письмо в редакцию журнала "Вопросы истории КПСС" на 28 машинописных страницах, датированное 26 октября 1967 г., подписали 19 человек – сотрудники институтов истории, народов Азии, археологии, философии АН СССР, преподаватели МГУ и др.

Казалось очень существенным заручиться поддержкой корифеев, стоявших на верхней ступени научной иерархии. Академик Н.И. Конрад сразу же с готовностью согласился присоединиться к нам. К М.В. Нечкиной мы обратились через ее многолетнюю сотрудницу Е.Л. Рудницкую. Прочитав наш текст, Милица Васильевна солидаризировалась с его основными положениями, но решила отправить в редакцию отдельное письмо. Так же поступил академик Н.М. Дружинин.

В начале ноября 1967 г. "письмо 19-ти" было отправлено по назначению, а копии разосланы в Президиум Академии наук, издательство "Наука", Институт марксизма-ленинизма и Институт истории АН СССР. Разумеется, мы не были столь наивны, чтобы всерьез надеяться на опубликование этой контррецензии. И действительно, никакой реакции со стороны тех, к кому мы апеллировали, не последовало. Но весть об этой акции быстро распространилась и послужила толчком к ряду аналогичных действий – коллективных и индивидуальных заявлений, порицавших скандальное выступление упомянутых "критиков". Однако и они остались без ответа.

26 января 1968 г. мы вторично обратились в редакцию "Вопросов истории КПСС" с просьбой уведомить нас "относительно сроков публикации нашего письма". Поскольку ответа и на сей раз не поступило, через месяц копии письма от 26 октября были посланы в редакции журналов "Коммунист", "Вопросы истории", "Новая и новейшая история", "Исто-

рия СССР”, “Военно-исторический журнал”, “Новый мир”. Но и на этот шаг никто не реагировал.

Лживо утверждая, будто “научная общественность осудила книгу А.М. Некрича”<sup>5</sup>, те, кто определял идеологический климат в стране, попросту игнорировали подлинное общественное мнение, выраженное в многочисленных протестах. Полагаю, однако, что так и не нашедшую отражения в советской прессе акцию нельзя считать совсем бесполезной. “Директивные органы” все же вынуждены были пойти на уступки, имевшие немаловажное значение для личной судьбы А.М. Перед лицом оказанной ему внушительной моральной поддержки его не решились уволить из Института и даже иногда печатали, хотя редкие публикации жестко дозировались.

Для меня же предпринятая попытка сласти человека, ставшего жертвой очередной политической экзекуции, явилась первым опытом легального противостояния произволу. Однако активное участие в деятельности “непослушного” парткома и особенно в кампании в защиту А.М. Некрича не прошло безнаказанно. Я ощутил это, когда в 1968 г. в издательстве “Наука” от меня потребовали убрать из корректуры очерка “Советская историография стран Латинской Америки” трехкратное упоминание о вредном воздействии “культы личности Сталина” на изучение латиноамериканских проблем в СССР. Только мой категорический отказ (не смотря на угрозу рассыпать набор) подписать к печати текст с купюрами и молчаливая солидарность тогдашнего главного редактора Главной редакции литературы по общественным наукам В.И. Зуева позволили сохранить работу в первоначальном виде, не допустив изъятия “нежелательных” мест.

Осенью 1969 г. произошел инцидент, имевший для меня роковые последствия. Весной этого года я получил приглашение принять участие в третьей конференции историков Мексики и США, которая должна была проходить с 3 по 9 ноября 1969 в мексиканском городе Оахтепеке. 31 октября мне сообщили в Управлении внешних сношений АН СССР о разрешении на выезд, выдали необходимые документы и, поскольку мексиканская въездная виза еще не была получена, предложили 1–2 ноября (суббота и воскресенье) справляться по телефону относительно визы у дежурного по Консульскому управлению МИД СССР. В воскресенье днем посол Мексики дал мне знать, что виза есть, и по его просьбе я поехал для ее оформления в посольство. Однако этот “самовольный” визит вызвал неудовольствие “компетентных органов”, и в итоге поездка в Мексику была отменена без всяких объяснений. Через неделю меня вызвали на расширенное заседание дирекции Института и в присутствии так называемого “актива” устроили, пользуясь тогдашней терминологией, “проработку”, инкриминируя нарушение неких якобы установленных МИД (но мне неизвестных) правил. Я же, вместо того, чтобы публично покаяться, как полагалось в подобных случаях, заявил, что не вижу в своих действиях никакого криминала. А затем позволил себе направить вице-президенту АН СССР объяснительную записку, где неосторожно выразил недо-

умение по поводу того, что "посещение человеком, которому доверяют выезд в далекую страну для участия в научной дискуссии на международной конференции, посольства этой страны в Москве с целью получения собственного паспорта имело такие последствия"<sup>6</sup>. Никакого отклика на это обращение не последовало, и с тех пор на целых два десятилетия я стал "невыездным".

На протяжении 60–70-х годов проблематика моих занятий, определявшаяся планами института и моими собственными, была весьма разнообразной. Но главной темой неизменно оставалась война за независимость испанских колоний в Америке, привлекавшая в те годы особое внимание советских и зарубежных ученых-латиноамериканистов. По мере активизации разработки указанной проблемы все отчетливее стала ощущаться потребность в изучении специфического развития Парагвая 1810–1840 гг. как неотъемлемой составной части многопланового революционного процесса, протекавшего на субконтиненте. Данной тематике я посвятил ряд трудов, подготовкой которых занимался начиная с середины 60-х годов.

Чтобы дать некоторое представление об особенностях этой работы, позволю себе на конкретном примере продемонстрировать приемы и методы источниковедческого поиска, предпринятого с целью разгадать замысловатую историческую загадку, на что понадобилось немало времени и сил. Не вдаваясь в детали, напомним, что в течение многих лет Парагвай под авторитарной властью Верховного диктатора доктора Франции (1814–1840), проводившего политику самоизоляции республики, оставался для внешнего мира таинственной страной, о которой за ее пределами ничего не было известно. Первые свидетельства очевидцев, как долгое время считали историки, появились в печати лишь в 1826–1827 гг.

Между тем еще весной 1825 г. петербургский "Сын отечества" напечатал подробное описание Парагвая в сугубо апологетическом духе, подписанное инициалами декабриста Н.А. Бестужева. Поэтому, вероятно, эту публикацию ввели в научный оборот прежде всего декабристоведы. Она привлекла также внимание советских латиноамериканистов. Ссылаясь на нее, В.М. Мирошевский и другие авторы идеализировали режим Франции, характеризуя последнего как вождя "парагвайской революционной демократии".

При этом почти все исходило из принадлежности упомянутой статьи перу самого Бестужева, не задумываясь над тем, каким образом никогда не бывавший в Америке декабрист, в условиях строгой изоляции Парагвая и отсутствия всякой информации о нем, мог получить подобные сведения. А ведь ответ лежал на поверхности, ибо под текстом стояло: "Из Hamb. Pol. Jour." (т.е. из "Hamburger politisches Journal"). Действительно, февральский номер указанного издания за 1825 г. содержал анонимный очерк "Парагвай (из американских газет)". Сопоставление обеих публикаций показало, что первая – дословный перевод второй. Но как последняя попала в гамбургский журнал? Ссылка на "американские газеты", каковых насчитывалось тогда около 500, практически ничего не проясняла, тем более, что в наших хранилищах они почти не были представлены.

Однако в фондах петербургской Библиотеки Академии наук все же оказался комплект балтиморского еженедельника "Niles' Weekly Register", где я и обнаружил краткое изложение вышеуказанной статьи, а в качестве источника значилось: "Phil. pap." – предположительно, сокращенное "Philadelphia Paper". Но в очень полном каталоге периодики США Грегори такое наименование отсутствовало. Возможно, имелось в виду не конкретное название, а то обстоятельство, что материал заимствован "из филладельфийских газет"? Из примерно двух десятков изданий я выбрал наиболее солидную и информированную "Philadelphia Gazette and Daily Advertiser" и, пользуясь любезностью директора испанского фонда Библиотеки Конгресса в Вашингтоне, заказал ее микрофильм за вторую половину 1824 г. В номере от 5 ноября я нашел сокращенный вариант той же "парагвайской" публикации с примечанием: "Из лондонской The Morning Chronicle". Эту газету мне с трудом удалось отыскать в фонде зарубежной периодики ЦГАДА и в номере от 23 августа 1824 г. обнаружить наконец пространный статью о Парагвае, без подписи – ту самую, что в переводе была напечатана в Гамбурге и Петербурге. Между прочим, в ней упоминалось об отправке в Англию двух парагвайских судов и эмиссара для установления отношений, а изучение европейской прессы подтвердило их прибытие в Лондон, с чем, несомненно, и была связана публикация в "Morning Chronicle", имевшая явно рекламно-пропагандистское назначение. Судя по ее апологетическому характеру, автором был, по всей вероятности, либо сам Франсиа, либо кто-то из его приближенных.

Итоги моих многолетних исследований различных аспектов диктатуры Франции отражены в монографиях "Революция и диктатура в Парагвае" (1975 г.), "Диктатура доктора Франции в Парагвае" (издана в 1981 г. в Польше) и в серии статей, опубликованных в СССР и за границей. Эти работы появились, с моей точки зрения, своевременно, так как в 70-х годах на фоне оживившегося интереса к проблеме латиноамериканских диктатур в прошлом и настоящем сложный и противоречивый феномен Франции стал привлекать растущее внимание, сохранившееся и поныне. Со второй половины 70-х годов я занимался в основном изучением позиции России по отношению к испанским колониям в Америке в 60–90-х годах XVIII в. Мне удалось найти в архивах Москвы и Санкт-Петербурга, а также получить из Вашингтона и Вены много новых материалов (частично не вводившихся ранее в научный оборот), которые в значительной мере касались почти годовичного пребывания в нашей стране (1786–1787 гг.) и последующих контактов с влиятельными кругами русского общества и российскими дипломатами (1787–1792 гг.) венесуэльца Франсиско де Миранды – участника освободительной войны английских колоний в Северной Америке, генерала Великой французской революции, генералиссимуса Венесуэльской республики 1811–1812 гг. Освещение этой яркой страницы биографии выдающегося деятеля революционного движения в Испанской Америке вылилось в монографию "Франсиско де Миранда в России", вышедшую в 1986 г. Критический анализ принятых в историографии концепций, связывающих покровительство и содействие, оказан-

ные южноамериканскому гостю петербургским правительством, с практическими соображениями, якобы продиктованными планами экспансии России на северо-западе Америки, привел меня к заключению о несостоятельности подобных утверждений. Сделанные в книге выводы поставили под сомнение выдвинутую в свое время В.М. Мирошевским гипотезу, которая легла в основу изложенной выше версии. Будучи учеником Владимира Михайловича, бесконечно ему обязанным, я предпочел бы воздержаться от критики по его адресу, однако, как говорится, "Платон мне друг, но истина дороже". А она такова, что, участвуя в юности в гражданской войне, а потом находясь на партийной, комсомольской, журналистской, педагогической работе, этот талантливый человек только на рубеже 20–30-х годов начал заниматься латиноамериканской историей, став одним из пионеров ее изучения в нашей стране. Но его плодотворная деятельность в данной области ограничилась, увы, последним десятилетием недолгой жизни ученого. За это время он успел сделать поразительно много, причем круг его разнообразных научных интересов был необычайно широк. Однако в условиях столь узких временных рамок широта диапазона исследований не могла не отразиться на их глубине и объективности анализа. Отсюда – отсутствие реальной возможности в полной мере и с необходимой обстоятельностью изучить источники и литературу вопроса, обеспечить действительно критический подход к ним, неизбежная поверхностность и поспешность суждений. К тому же труды Мирошевского, разумеется, несли в себе определенный идеологический заряд, на мышление автора наложили отпечаток дух времени и свойственный той эпохе "социальный заказ". Поэтому далеко не все его работы выдержали трудное испытание на прочность.

Вспоминая условия, в которых жил и работал на протяжении "застойных" 60–80-х годов, полагаю, что в научном отношении тот период оказался для меня в целом довольно плодотворным. За редкими исключениями, я мог почти без помех заниматься, чем хотел, и писать, как считал нужным, правда, прибегая подчас к эзоповскому языку, а кое о чем дипломатично умалчивая. Конечно, не всегда удавалось поставить все точки над *i*, сказать все, что представлялось необходимым. Но, во всяком случае, я никогда не кривил душой и не утверждал того, чему сам не верил.

Мои труды печатались, как правило, в том виде, в каком я их представлял, хотя иногда возникали споры с ответственным или издательским редактором либо осложнения с Главлитом и приходилось вносить некоторые коррективы. Впрочем, время от времени появлялась возможность высказаться без оглядок на цензуру, издав что-либо за рубежом. Из этих соображений я охотно воспользовался, в частности, предложением редакции журнала "The Hispanic American Historical Review" (США) написать о себе и своей деятельности. Статья под заглавием "Заметки латиноамериканиста", где я изложил свое научное кредо, была напечатана в 1982 г.

В общем мне давали более или менее спокойно жить и работать. Но при этом подразумевалось, что я не должен "высовываться", а любое проявление международного признания, исходившее "из-за бугра", вызывало

“наверху” плохо скрываемое раздражение и бесцеремонно пресекалось под каким-нибудь надуманным предлогом. Эту негласную, едва замаскированную дискриминацию я ощущал постоянно на протяжении двадцатилетия. Она обуславливалась отчасти и моим поведением, вытекавшим из полного и окончательного духовного отрезвления, наступившего в конце 60-х – начале 70-х годов.

Для становления моих взглядов немалое значение имело знакомство с гениальными антиутопиями Оруэлла и Замятина, трилогией о Троцком Дойчера и, конечно, “Архипелагом ГУЛАГ” и иными произведениями А.И. Солженицына, его открытым письмом “Вождям Советского Союза”, обращениями А.Д. Сахарова к советскому руководству и т.д. Помню, как в начале 70-х годов мне дали на очень короткий срок английское издание “Фермы животных”. Я уступил на один день эту книжку старшей дочери. А на завтра (то было воскресенье), отложив все дела, мы с раннего утра уселись вдвоем, с женой и младшей дочерью, и до позднего вечера, читая про себя текст, я тут же à livre ouvert переводил им основное содержание.

Особо хотел бы сказать об огромном влиянии, которое оказали на меня многолетнее общение и дружба с одним из самых замечательных людей, встретившихся в моей жизни, в ком я всегда видел свой нравственный идеал. Речь идет о моем дальнем родственнике Евгении Александровиче Гнедине – сыне известного социал-демократического деятеля России и Германии Парвуса. Преуспевающий советский дипломат и журналист-международник, заведующий отделом печати НКВД СССР, он в 1939 г. был арестован и больше 16 лет томился в тюрьмах, лагерях и ссылке. Пройдя все круги бериевского ада и претерпев все, что могли придумать палачи, Е.А., в отличие от ряда других заключенных, не признал предъявленных ему вымышленных обвинений и тем самым, вероятно, спас себя. После реабилитации он вернулся из небытия в Москву не озлобленным или сломленным, как многие, а сохранив в полной мере свой интеллектуальный потенциал, способность к объективному восприятию советской действительности и ее критическому анализу. Умудренный приобретенным трагическим опытом, он постепенно избавлялся от оков традиционного догматического мышления, успешно преодолевая привычные стереотипы и оставаясь внутренне свободным. Подобная эволюция логически привела его летом 1979 г. к выходу из КПСС.

То был человек целеустремленный, мужественный и волевой, глубоко принципиальный и порядочный, и вместе с тем необычайно толерантный, обладавший редким даром уметь слушать и понимать собеседника. Свое тюремное и лагерное хождение по мукам и процесс духовного возрождения он подробно описал в изданных им книгах<sup>7</sup>, которые следует прочитать каждому, кого интересуют проблемы развития демократического движения в советском обществе.

Возвращаясь к вопросу о моей собственной жизненной позиции, должен честно признаться, что, восхищаясь героизмом и самоотверженностью активных диссидентов и правозащитников, не обладал достаточным

гражданским мужеством, чтобы “взойти на эшафот”, и не отваживался высказать вслух свои тайные, “антисоветские” мысли, каковыми делился лишь с друзьями и единомышленниками. Однако при этом стремился по крайней мере не говорить и не писать того, что не соответствовало моим подлинным убеждениям, не совершать недостойных поступков, которых пришлось бы стыдиться. Поэтому, например, я никогда не спрашивал, как требовали “кураторы” из КГБ, разрешения на встречи с приезжавшими в Москву зарубежными коллегами, а просто приглашал их к себе домой. Регулярно переписывался с эмигрировавшими друзьями, не задумываясь, чем это чревато. По той же причине после арабо-израильской войны 1973 г. отказался подписать адресованное в ООН письмо ученых-участников Отечественной войны, евреев по национальности, с протестом против агрессии Израиля.

Подобным образом, с моей точки зрения, при желании мог в те годы без особого риска для жизни и свободы поступать каждый. Разумеется, если самоуважение, чистая совесть, элементарная порядочность, мнение окружающих, дружба, верность принципам, понятие гражданского долга были для него дороже сиюминутных успехов, карьеры, честолюбивых помыслов, личных амбиций, материального благополучия.

Что касается меня, то к перспективам продвижения по службе я оставался абсолютно равнодушен. На протяжении многих лет мне была присуща своего рода идзиосинкразия к административной и общественной деятельности, я терпеть не мог руководить и командовать. Ученая степень доктора наук и должность старшего научного сотрудника академического института меня вполне удовлетворяли, и я готов был до конца своих дней пребывать в этом качестве, не претендуя на большее, лишь бы иметь возможность заниматься проблемами, входившими в круг моих интересов. Но акции дискриминационного характера воспринимал болезненно.

Пожалуй, наиболее унижительным был для меня запрет на зарубежные поездки. Этим, однако, карательные меры не ограничивались. Порой они распространялись и на то, что происходило в Москве, как, например, XIII международный конгресс исторических наук (август 1970 г.). Несмотря на многочисленность советской делегации, включавшей фактически почти всех ведущих специалистов Института, меня (как, впрочем, и некоторых других “неблагонадежных” сотрудников – А.М. Некрича, Л.Ю. Слезкина, М.Я. Гефтера) в числе делегатов не оказалось. Только благодаря энергичному вмешательству наших возмущенных сослуживцев мы в последний момент все же получили пригласительные билеты.

Я и впоследствии неоднократно сталкивался с закулисными происками партийного аппарата, не стеснявшегося в выборе средств, чтобы воспрепятствовать выраженному за рубежом намерению воздать должное советскому ученому, неугодному Отделу науки ЦК. В качестве примера приведу факт, относящийся к эпохе “позднего застоя”.

В начале 1984 г. в один прекрасный день мне позвонил мексиканский посол в СССР Орасио Флорес де ла Пенья и сообщил, что его правитель-

ство, учитывая мой вклад в изучение истории Мексики, намерено отметить мои заслуги высокой наградой. Я, разумеется, поблагодарил, сказал, что это огромная честь для меня, и произнес еще какие-то подходящие случаю слова.

Прошло несколько месяцев. Как я узнал потом из абсолютно достоверного источника, за это время, пользуясь международной практикой, предусматривающей при награждении граждан иностранных государств предварительное согласование с их правительствами, наше Министерство иностранных дел (видимо, по указке “компетентных органов”) настойчиво пыталось убедить мексиканские власти вместо меня наградить другого, более приемлемого для “инстанций” советского историка. Но мексиканцы твердо стояли на своем, и “кураторам” со Старой площади пришлось проглотить пилюлю. В июне 1984 г. декретом президента Мексиканских Соединенных Штатов я был удостоен ордена Ацтекского орла, который мне торжественно вручили в посольстве Мексики.

Мой многолетний карантин закончился лишь в конце 80-х годов, и свою последнюю монографию “Россия и Новый Свет (последняя треть XVIII века)”, вышедшую в 1993 г., я завершил уже в изменившихся условиях. Но ситуация конца 80-х – начала 90-х годов еще слишком свежа в памяти и является предметом особого разговора.

<sup>1</sup> Трагической судьбе моих погибших однокурсников посвящена книга “Голоса из мира, которого уже нет. Выпускники исторического факультета МГУ 1941 г. в письмах и воспоминаниях” (М., 1995).

<sup>2</sup> См.: *Альперович М.С.* От Москвы до Берлина // Археографический ежегодник за 1990 год. М., 1992. С. 290–295.

<sup>3</sup> Цит. по машинописной копии, хранящейся в личном архиве автора: *Ермолаев В.* Замечания к диссертации М.С. Альперовича. С. 7, 12, 14–16.

<sup>4</sup> В 60-х годах ряд положений этой работы обстоятельно проанализировали Хуан А. Ортега-и-Медина (Мексика) и Дж. Грегори Освальд (США), с которыми поначалу я довольно энергично полемизировал. Но постепенно убедился в обоснованности некоторых их критических замечаний, о чем заявил публично еще в конце 60-х годов (см.: *Альперович М.С.* Советская историография стран Латинской Америки. М., 1968. С. 70). Позже, на страницах североамериканского журнала, мною отмечены серьезные недочеты указанной монографии: ограниченность источниковой базы, недостаточная подчас глубина анализа, а в ряде случаев – упрощенно-односторонний подход к исследуемым вопросам и чрезмерная категоричность суждений. См.: *Al'perovich M.S.* Notes of a Latin Americanist // *The Hispanic American Historical Review.* 1982. N 3. P. 350.

<sup>5</sup> См.: Исторический документ партии // Вопросы истории КПСС. 1967. № 9. С. 23.

<sup>6</sup> Цит. по машинописной копии, хранящейся в личном архиве автора: ст.н.сотр. ИВИ АН СССР Альперович М.С. – вице-президенту АН СССР академику Румянцеву А.М. С. 3.

<sup>7</sup> *Гнедин Е.А.* Катастрофа и второе рождение. Амстердам, 1977; *Он же.* Выход из лабиринта. Нью-Йорк, 1982; *Выход из лабиринта: Евгений Александрович Гнедин и о нем.* М., 1994.